**«Виктор Астафьев после "деревенской" прозы»**

Владимир Зубков, литературовед, доцент кафедры новейшей русской литературы Пермского педагогического университета

В конце шестидесятых годов, когда “деревенская” проза только начала осознаваться литературной критикой как новое литературное направление, в Пермском издательстве увидела свет работа Александра Макарова — скромная, едва на сотню страничек малого формата, но самая первая книжечка о Викторе Астафьеве. “Включенность” его творчества в “деревенскую” прозу для А. Макарова была совершенно очевидной, поэтому, характеризуя написанное Астафьевым, критик очертил тем самым и общие черты этого литературного направления. “…Пишет он словами простыми, таящими в себе и запахи тайги… и строгий покой лесных озер… и неизъяснимую нежность ко всему живому”. Пишет “о способности живых и деятельных прорастать через обстоятельства, как бы ни были они тягостны, и выходить из испытаний, обогащаясь нравственно и сохраняя душу живу”. Таков был взгляд на “деревенскую” прозу в первом приближении, захватывающий “Сельских жителей” В. Шукшина (1963), “Привычное дело” В. Белова (1966), “Деньги для Марии” В. Распутина (1967), “Две зимы и три лета”. Ф. Абрамова (1968), “Шумит луговая овсяница” Е. Носова (1966), первую книгу “Последнего поклона” В. Астафьева (1968).

Спустя тридцать с лишним лет, уже на пороге следующего века, в солидной монографии Н. Лейдермана встретятся сходные, хотя и более отточенные, оценки “деревенской” прозы. Автор пишет о воплощении в ней “интуитивно принятых верований, чувствований и идеалов, которые в течение многих столетий определяли нравственный кодекс народной жизни”; об утверждении тех “нравственных ценностей, которые вырастают не на почве классовой идеологий и умозрительных социальных доктрин, а на почве бытия, житейского опыта, труда на земле, в непосредственном контакте с природой”\*. Вместе с тем Н. Лейдерман называет и иные составляющие “деревенской” прозы, которые все более выходили на первый план в семидесятых годах. Это острое ощущение “дефицита духовности” как главной беды времени, “драматического разлома, проходящего через душу” деревенского жителя, тревога за духовное здоровье народа.

Сцепление этих начал и создает, как нам представляется, драматическое ядро “деревенской” прозы. Идеализация национального природно-этического лада, поиски света, идущего из глубины прежнего крестьянского мира — и острое чувство его распада не только в современности, но даже в духовной памяти народа. Надежда на спасительную связь отдельного человека с природным и нравственным национальным миром — и потрясение губительными последствиями утраты “света в душе”.

Единство этих мотивов в русле “деревенской” прозы бросается в глаза. В обобщенном “Слове о “малой родине” В. Шукшина (1973) просвечивают словно сжатые до кратких словесных формул картины из начальных глав астафьевского “Последнего поклона” (1968). “…Нигде больше не видел я такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость”.

В рассказе В. Астафьева “Жизнь прожить” (1968), в горьких размышлениях его героя Ивана Тихоновича — своеобразный конспект будущего мощного полотна В. Распутина о прощании с “деревенской Атлантидой”: “Топил, топил Анисей нашего брата, теперь самого утопили, широкой лужей сделали, хламьем, как дохлую падаль, забросали… Народ другой живет, на других, малородных берегах, все боле переселенец… На старых пашнях березники взошли, берега моет, землю рушит, камень оголяет, в ранах вся тайга и земля по Анисею… Моя родина, мой берег и могилы родительские… — на дне глубоком.

Нас, деревенских жителей, столь охмуряли, дак мы всякую лжу за версты многие чуем… Мы на земле своей… из поколенья в поколенье жили и работали, нам ее жалко, да и боязно делается, как подумаешь, что за люди без земли, без своего бережка, без покоса, без лесной делянки, без зеленой полянки, на сером бетоне вырастут. Что у них в душе поселится?.. Какое дело они справлять станут? Кого любить? Кого жалеть? Чего помнить?”

Обе составляющие: “поклон родному миру, умиление всем тем хорошим, что было в этом мире, и горевание о том злом, дурном, жестоком, что в этом мире есть”, вполне определенно и равновесно проступают в произведениях Астафьева, связанных с традицией “деревенской” прозы: первой книге “Последнего поклона”, повести “Ода русскому огороду”, рассказе “Жизнь прожить”, многих “Затесях”… В них ощущение “малой родины” с ее подворьем и пашней как гармонического мироздания. Поэтизация естественности природного и хозяйственного круговорота жизни. Включенность в него как мерило истинности существования человека. Своеобычность национальных характеров из глубины России и прежде всего ее “светлых душ”, чью “память и совесть не выключишь”.

Особенно полно и “чисто” астафьевская модификация “деревенской” прозы представлена в “Оде русскому огороду” (1972) благодаря лирически свободной организации этой повести. Здесь картины огорода, в темный квадрат которого “все сущее вместилось”; “земельного упорядоченного труда”, дающего человеку “уверенность и солидность в жизни”; банных субботних вечеров, оставшихся “в памяти дивными видениями”… Миропорядок, прекрасный в своей естественной разумности, открывается глазам “озаренного солнцем деревенского мальчика” из той минувшей жизни, где “на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь”.

И здесь же первые ноты реквиема по этому идеалу бытия. “Житейские ветры… выдувают звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы”.

С середины 1970-х годов целостная традиция “деревенской” прозы в творчестве Астафьева все более утрачивается. Составляющее ее ядро равновесие “лада и разлада” (Н. Лейдерман) нарушается уже во второй книге “Последнего поклона” (1978) и “Царь-рыбе” (1975), а особенно в “Печальном детективе” (1986), где очевиден резкий крен к исследованию нравственного и социального неблагополучия того, что прежде виделось светлым, добрым и радостным.

Меняется эмоциональная окраска узловых эпизодов, определяющих основную тональность повествования. Прежде она создавалась душевным просветлением мальчика от наказания добротой (глава “Конь с розовой гривой”), радостью общего труда (глава “Осенние грусти и радости”), теплотой семейного застолья (глава “Бабушкин праздник”), бесстрашием учителя, защитившего своих учеников от опасности (глава “Фотография, на которой меня нет”), негаснущей виной внука, не сумевшего похоронить бабушку (глава “Последний поклон”). Теперь — бесчисленными столкновениями астафьевских персонажей и самого повествователя с многоликой бесчеловечностью, равнодушием и жестокостью. Потерявший разум от обиды и голода сирота, хлещущий тупоумную учителку за все зло на свете, слезы бездомного подростка, от которого родня откупается тарелкой супа (глава “Без приюта”). Злоба остервенелой бабенки, помыкающей слепым мужем-фронтовиком (рассказ “Слепой рыбак”). Дикая резня, не замеченная в жизни доброго русского города (рассказ “Будни”). Вой голодной женщины, вечной труженицы, не допущенной в дом брата, живущего на ее же заработок (рассказ “Паруня”)… Высшая сладость пьяных подонков — покуражиться над случайным прохожим (роман “Печальный детектив”). Смерть солдата-инвалида, забитого сапогами ротного командира (роман “Прокляты и убиты”). Несть конца эпизодам, создающим горький лейтмотив поздней астафьевской прозы. И над всем — недоумение автора: отчего это? “Ведь не родились же русские люди с помутненным от злобы разумом”.

Радость естественного круговорота бытия в общем народном “теле”, поэтизация нравственных основ крестьянской трудовой жизни сменяются горькими наблюдениями над их распадом. В центр астафьевской прозы и публицистики выдвигается диагностика глубокой болезни народа в ее социальных, духовных, нравственных, экологических, производственно-трудовых симптомах и переживание этой беды — до отчаяния, до боли. В жанровом плане это ослабляет позицию Астафьева-сочинителя, художника, и усиливает голос очеркиста, обличителя, проповедника, в котором громче всего звучит “крик изболевшейся души” (Вас. Быков). Это происходит не только в “Царь-рыбе”, “Печальном детективе”, многих “Затесях”, но и — особенно зримо — в военной прозе.

От “Проклятых и убитых” до “Веселого солдата” все чаще на первый план выходит скверна народной жизни. С ее описанием соседствуют прямые авторские суждения, как, например, при изображении послепобедного вокзально-эшелонного человеческого месива в повести “Так хочется жить”. “Велись и долго будут хитроумно вестись подсчеты потерь в хозяйстве, назовут миллиарды убытков… но никто никогда не сможет подсчитать, сколько дерьма привалило на кровавых волнах войны, сколько нарывов на теле общества выязвила она, сколько блуду и заразы пробудилось в душах людских, сколько сраму прилипло к военным сапогам и занесено будет в довольно стойко целомудрие свое хранящую нацию”.

А в “Веселом солдате” граница между художественной изобразительностью и авторской исповедальностью вообще исчезнет, поскольку Астафьев перестанет маскироваться именами эпических персонажей Коляши Хахалина и Сережи Слесарева и, махнув рукой на традицию литературного сочинительства, станет повествовать о жизни демобилизованного от себя, рассказывать по сути дела о себе.

Можно предположить, что сравнительно быстрое избавление Астафьева от иллюзий “деревенской” прозы объясняется, в частности, опытом войны, которая, в первую очередь, дала ему такой трезвый взгляд на противоречия народной жизни, каким не могли обладать “младшие” литературные соратники В. Распутин, В. Шукшин, В. Белов… Черта, за которой Астафьев разошелся с традицией “деревенской” прозы, — это вопрос о сохранении или утрате веры в нравственное здоровье народа, это глубокое сомнение в том, что жизнь под “звездой полей” рядом с отчими могилами сама по себе способна пробудить добро и свет в душе, это принципиальный отказ, по выражению Н. Лейдермана, от “априорной идеализации” народного мира.

Если выход Большого гнева Астафьева в центр его художественной прозы и особенно публицистики с конца 80-х годов еще можно, в известной мере, отнести за счет горестей личной судьбы, а также за счет исчезновения цензурно-редакторских рогаток, то резкое ослабление в его творчестве “светлых” мотивов народной жизни, утрату веры в ее возрождение этими причинами уже не объяснить.

“Уход” Астафьева из русла “деревенской” прозы обусловлен углубляющимся с годами пониманием причин — и нынешних, и отдаленных — деградации народной жизни, необратимости ее духовно-нравственного распада. Корни этого явления видятся автору “Проклятых и убитых” в той давней, “смутой охваченной отчизне, захиревшей от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не вырастивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет…”. Его продолжение — в растоптанной, сбитой с толку коллективизацией, ограбленной раскулачиванием деревне; в барачно-лагерной пересортице людей, надрывавших силы в котлованах пятилеток; в кровавом фронтовом четырехлетии, когда “Жуков и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию”; и далее — в забвении “куражливой властью” надсаженного войной бесправного народа, частью которого был демобилизованный фронтовик Виктор Астафьев.

Пожалуй, горше всего для Астафьева укоренившаяся с тех давних лет притерпелость народной, особенно глубинной деревенской России к повседневной униженности и утрате самоуважения, уже и не замечаемая самими людьми. Государство развитого социализма встает перед глазами автора рассказа “Слепой рыбак” в облике вологодской деревни, куда “трактором, по крышу кабины залепленным грязью, в грязных мешках привозили серый хлеб, который, будучи горячим, рассыпался вроде блокадного, а в охладевшем виде делался что бетон, облезлые, точенные мышами пряники… вспученные баночки “завтрака туриста”, со сгнившей в них килькой, которым уже не раз тут люди травились… и сверх всего козырный, сладостный товар — бормотуху. Бабы забыли, как и что варить, разучились стряпать и ткать, шить и молиться, но все люто матерились, сплетничали и смекали “средствия” на выпивку…”. В объективном плане прощание Астафьева с иллюзиями “деревенской” прозы ускорилось в 80—90-е годы нарастанием “антропологического кризиса” на закате советской империи, а затем в постсоветские времена духовного бездорожья, прохиндиады одних и потерянности других. “Последние десять лет въяве показали, что… русский народ неизлечимо болен”, — констатирует писатель\*.

В написанном в 1997 году послесловии к давнему рассказу “Ловля пескарей в Грузии” (1984) Астафьев ставит диагноз болезни народной России, невозможный в “деревенской” прозе. “Страна с почти нетрудоспособным населением… массой больных физически и психически; страна, где смертность все стремительнее опережает рождаемость, страна, где сидят в тюрьмах миллионы людей и еще миллионы целятся туда попасть; страна, где военщина делает вид, что сокращается и перестраивается… страна, где воровство и пьянство сделались нормой жизни; страна, в которой вымирает или уезжает за рубеж порядочный, талантливый, умный народ; страна, утратившая духовное начало… страна, захлестнутая пошлостью, с цепи сорвавшимся блудом, давно уже отравленная потоком суесловия и торжествовавшей прежде и торжествующей поныне лжи, полупрофессиональности, лени…”

Нельзя не заметить нечто созвучное и в военной прозе Астафьева 90-х годов — первоочередное внимание писателя к судьбе российских мужиков, “наученных терпеть, страдать, пресмыкаться, выживать, и даже родине, их отвергшей и растоптавшей, служить”. Как никогда остро звучит мотив глубокой пропасти между солдатской массой и разномастными “полномочными” лицами.

Основным пространством военной прозы становятся “сырые, мрачные, бесконечно длинные и глубокие, как братская могила, склепы” ровенских казарм, в которых “дослуживают и теснятся хромоногие, больные, припадочные, гнилобрюхие и гнилодыхие солдаты” (“Так хочется жить”). Промороженные бараки сибирских учебных полков с наледями солдатской мочи у порогов и сырыми комками доходяг на верхних ярусах нар (“Прокляты и убиты”). Распределители и сортировки, где “вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляция... Паскудное, страшное заведение, грязное гнездо, свитое под благородной вывеской “Госпиталь” (“Веселый солдат”).

В книгах Астафьева о войне все чаще выходит на первый план образ народа, привыкшего к многолетнему унижению и покорности, теряющего нравственное достоинство и духовное самостояние. Поэтому во фронтовой повести “Так хочется жить” столь естественно нашла место история наполовину вымершего в Заполярье переселенческого этапа из Сибири. Поэтому, может быть, последняя повесть Астафьева открывается эпиграфом из Гоголя, горько контрастирующим с ее названием “Веселый солдат”: “Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире”. Поэтому здесь посреди сугубо бытового повествования о хасюринском госпитале 1944 года, о живущей поблизости красавице-казачке Марине и ее примаке, хозяйственном и добром Тимоше, прорвется вдруг безжалостный прогноз будущей социальной болезни множества таких тимош. “Пройдет всего лишь несколько десятков лет, и, истощенный братоубийством, надсаженный “волевыми решениями” и кровопролитной войной, потерявший духовную опору и перспективу, превратится он из послушного работника в кусочника, в мелкого вора, стяжателя, пьяницу… И пойдет потомок Тимоши по земле с открытым мокрым ртом, мутным, бессмысленным взглядом… Пьяный еще в животе матери, пьяным отцом зачатый, выжмется из склизкого чрева склизкое одноклеточное существо без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом… признающее только власть кулака… Но когда это еще будет?!”

Опыт собственной жизни, помноженный на нравственное и историческое чутье, вывел Астафьева к стержневому процессу, нарастающему в русском мире с эпохи петровского самодержавия, многократно усиленному большевизмом и достигшему кульминации в наши дни. Этот процесс можно кратко определить как постепенное отчуждение народа от христианских заповедей, как отпадение человека от Бога в самом себе, то есть от своей совести. Острое переживание и пристальное художническое исследование губительных последствий этого процесса создает трагическую доминанту поздней прозы Астафьева.

Эволюцию полувековой жизни Астафьева в литературе можно рассматривать в разных аспектах: тематическом, жанровом, стилевом и т.д. Но главное в ней, на мой взгляд, — движение из мира собственно “деревенской” и военной прозы к художественному и публицистическому исследованию общего состояния народной России. Если трагические мотивы астафьевской прозы 1950—1970-х годов вызваны отдельными явлениями жизни: обездоленным детством, опустошающей душу человека войной, губительным вторжением в природу и т.д., то в поздней прозе Астафьева трагическое мировосприятие доминирует независимо от темы произведения. В лице Виктора Астафьева русская литература конца века выдвинула писателя с наиболее мощной и целостной трагической версией современной народной жизни. Она выношена Астафьевым не только идейно, но и практически, ценой многолетнего опыта собственной жизни во глубине советской и постсоветской России: из крестьянской избы в барак спецпереселенцев, в сиротские стены детдома, в казарму запасного полка, в окоп переднего края, на госпитальную койку, в чусовскую халупу демобилизованного инвалида и, как предел мечтаний, — в пермскую тонкостенную “хрущевку”.

Думаю, своей судьбой Астафьев выстрадал более, чем кто-либо, право, которое еще за два года до его рождения поэтически сжато сформулировал Владислав Ходасевич:

И вот, Россия, “громкая держава”,

Ее сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.

Это право сына своего народа обращаться к нему как к “гражданам родного отечества… все святое на этой земле поругавшим”. Теплота астафьевского патриотизма замешана на все более жестком несогласии с привычной для русского человека униженностью как государством, так и собственным самодурством, на все более резком отказе от убаюкивающего прекраснодушия по отношению к сегодняшнему и завтрашнему дню России. Поистине повторим вслед за Булатом Окуджавой: “Чем выше музыка любви, тем громче музыка печали”.

В слове позднего Астафьева, освободившегося от иллюзий, отзывается голос Лермонтова, глядящего “с отрадой, многим незнакомой” на “огни печальных деревень” и простой крестьянский быт, но отказывающегося любить родину за “славу, купленную кровью”, за “темной старины заветные преданья” (“Родина”). Отзывается голос Блока, которому “слезы первые любви” к России не заслоняют ее нищету, “расхлябанные колеи” и “избы серые” (“Россия”). Отзывается голос Ахматовой, живущей на родной земле “хворая, бедствуя, немотствуя” среди “грязи” и “праха”, но “свободно” выбирающей верность ей до самой смерти (“Родная земля”).

Диапазон мировосприятия “позднего” Астафьева — от “чувства любви ко всем и ко всему”, благодарности “Богу и силам небесным за минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать” (“Веселый солдат”) до ясного осознания того, что “много, слишком много мешающего утвердительно говорить о разумном смысле человеческой жизни. Люди в моем селе не столько жили, сколько мучались и мучили… Рожденные с тюремной моралью “умри ты сегодня, а я завтра”, они живут сегодняшним днем с растренированной памятью, угасающим сознанием, и только жажда поживы еще руководит их инстинктами…” (“Вечерние раздумья”, завершающая глава третьей книги “Последнего поклона”).

В мозаике “затесей” последних лет — полюсы нашего разорванного мира. На одном — толпа на привокзальной площади, гогочущая над бормочущим один и тот же напев психически больным юношей (“Больной человек”). Лагерный охранник, привязавший беглого арестанта к хвосту лошади и отчитавшийся о поимке тем, что осталось после скачки — одной ногой несчастного (“Воспоминания о проделанной работе”). На другом — орел, вольно парящий над степью, еще не изуродованной людьми (“Хозяин”). Прекрасный мир музыки, “светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими” (“Мелодия Чайковского”).

На одном полюсе — горький диагноз тяжкой болезни нынешнего русского человека, “которому ничего уже не жалко: ни земли, не себя… ни настоящего, ни будущего родной планеты”, боль Астафьева от “неслыханного и невиданного в мире отчуждения людей от родной земли” (“Разговор со старым ружьем”). На другом — вера в то, что “землю можно разрушить… но останется дух наш, будет искать приюта… в чьей-то живой душе” (“Из тихого света”).

Существенно и другое. Отход Астафьева от традиций “деревенской” прозы связан к экзистенциальным расширением его художественного мира. Наблюдения над стремительно убывающим нравственным запасом народной жизни ведут размышления Астафьева от трагических изгибов собственно российского бытия к коренным изломам в самой природе человека ХХ столетия. Написанное Астафьевым в последние десятилетия века все более выходит из традиционной проблематики “деревенской” прозы с ее нравственно-психологической и бытовой конкретикой, поднимаясь к онтологическим мотивам вечного переплетения в человеке святости и дикости, доброты и озверения… Великий вопрос “что с нами происходит?”, которым Василий Шукшин завершил в 1973 году рассказ “Кляуза” и на который уже не успел ответить сам, десять лет спустя намного острее встает в астафьевском рассказе “Слепой рыбак”.

“Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего… Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтобы мы не блуждали в потемках, не натыкались… на друг дружку в мире, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье?”

Астафьев конца века мучительно ищет объяснение тому, отчего убывает в мире все более беззащитное добро и непрестанно прибывает многоликое беспричинное зло. Что это, излом природы, временная порча человека? Или пустоглазая бездумность, хищничество и жестокость, “спрятавшийся под покровом человеческой кожи и модных одежд жуткий зверь” и есть его суть, лишь загнанная вглубь внешней силой порядка или внутренней силой совести и молитвы?

Почему самое желанное для трех напившихся парней из “Печального детектива” — истоптать первого попавшегося под руку человека? “Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка. Из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: “С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки…” В школе: “Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет…” В вузе или в ПТУ: “Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг…” Втроем на одного в общем-то в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе…”. “Отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда?” И как в той же плоти российского человека, где живет вселенская жалость, таится “легко возбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное, необъяснимое зло?”

Почему грубая сила все больше господствует в цивилизованном мире? “По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия… А между тем… военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, — рожать, пахать, сеять, жать, создавать”.

Почему нарастает отчужденность человека среди людских толп, спрессовавшихся в каменных джунглях мегаполисов? Подъезжая к ним ночью, увидишь вдруг из вагона: “Раскаленным кончиком иголки проткнется из темных нагромождений” одинокое окно, и “томит голову сознание, что и ты вот так же заболеешь, помирать станешь и позвать некого, бездушно кругом” (“Окно”).

Почему так редки стали минуты “сердечного высветления”, подобные рыбацкому застолью с детьми в поселке Боганида, когда “даже самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое время, нелюдимые мужики проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах”, а значит, еще способен человек делать добро. (“Царь-рыба”).

Закончив в 1975 “Царь-рыбу” вечными вопросами, которые не помогло разрешить и обращение к Священному писанию, Астафьев продолжит их размышлениями Сошнина в “Печальном детективе” о загадках “современного торопливого мира”, чтобы спустя еще двенадцать лет в завершившейся, наконец, попытке исповеди “Из тихого света” (1961—1975—1992—1997!) вновь оказаться перед великой тайной человеческого духа — вместилища мироздания в отдельном существе.

Под знаком онтологических вопросов шла работа Астафьева с 70-х годов и над военным романом\*. Когда весной 1984 года съемочная группа пермского телевидения, будучи в Красноярске, записывала на видеопленку беседу с Астафьевым в связи с его шестидесятилетием, писатель делился тем, что читает в связи с “Проклятыми и убитыми” классические труды немецких стратегов первой и второй мировых войн. Что потрясен деловой обстоятельностью и душевной безмятежностью, с которыми они рассуждают о том, как наилучшим образом убивать возможно большее количество людей. Астафьев нашел тогда точное слово для обозначения нравственного уродства этих выдающихся умов — недочеловечность.

А в недавно изданной переписке писателя с литературным критиком В. Курбатовым находим письмо, отправленное из Овсянки десятью годами позже, в разгар работы над второй книгой романа. Оно подтверждает упорство, с которым Астафьев утверждает философский ракурс в романном осмыслении войны, стремится связать ее обжигающие будни с вечными проблемами человеческого бытия. “Я усложнил себе задачу тем, что не просто решил написать войну, но и поразмышлять о таких расхожих вопросах, как что такое жизнь и смерть, и человечишко между ними. Может быть, наивно, может, и упрощенно даже, но я все же пытаюсь доскрестись хоть до верхнего слоя той горы, на которой и Лев Толстой кайлу свою сломал”\*\*.

Вспоминая в комментариях к “Проклятым и убитым” о фактах “слепой жестокости” из разных времен и сфер жизни, Астафьев открывает в их связи страшный закон человеческого бытия. В этой общей цепи — “сплавщик, что надругался над мамой в 31-м году”, отрубив палец с обручальным колечком у утонувшей женщины. И поступавшие точно так же, еще и выбивавшие саперной лопаткой золотые коронки у павших на поле боя “шакальи” похоронные команды во время войны. И так пришедшийся ко двору в 30-е годы лозунг писателя-гуманиста: “Если враг не сдается — его уничтожают”. И не знающие жалости “ни к живым, ни к мертвым” “кадры, побывавшие в лагерях и тюрьмах”. “И вся история человечества, расцвеченная именами инквизиции, колонизации, коллективизации, реформации — не разгул ли это жестокого зверя!”.

Только ли памятью о собственной тяжкой судьбе или свойствами характера, “невыносимо чуткого ко всякой обиде и боли, своей и чужой” (М. Горький), объясняется в позднем творчестве Астафьева переизбыток внимания к жизненной скверне и полная утрата иллюзий “деревенской” прозы о народе — носителе нравственного идеала? Отнюдь нет. Мы убеждены, что ключевую роль в творческой эволюции Астафьева играл его мощный реализм, улавливающий общую закономерность ХХ века, века великих научно-технических побед, но и катастрофических поражений человека в других сферах жизни — социальной, экологической, нравственной, эстетической… Будучи точным барометром нарастающей дегуманизации современного мира в его отечественной модификации, поздняя проза Астафьева вырастает из рамок русской словесности в явление мировой культуры.

Что из написанного Астафьевым после расставания с “деревенской” прозой несет истину, а что — ожесточение и горячность заблуждения, покажет время. Но нет сомнения в том, что именно по “постдеревенской” прозе Астафьева в первую очередь будут судить о “страдающей совести русского народа”\*, о том, каким мучительным напряжением ума и болью сердца было духовное существование подлинно народного писателя на излете ХХ века.